



ВИТАЛИЙ ЗЛОТНИКОВ

## У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Баба Дуня собиралась на могилу к сыну. Раньше она ездила к нему только раз в год, на Пасху. Можно бы, конечно, было и почаще наведываться туда, тем более что от их деревни до областного города, где он похоронен, каких-нибудь километров шестьдесят, не больше. Но очень уж тяжела была баба Дуня на подъём и никуда из родной деревни выезжать не любила. За всю свою жизнь она, кроме как в этом городе, нигде не была вообще, и поехать туда для неё означало то же самое, что для другого, живущего, допустим, в Москве, съездить во Владивосток или в Ташкент.

Но последние года четыре – как перевалило ей за восемьдесят – стала она чаще прихварывать: то в боку схватит так, что свет белый не мил, то вдруг ни с того ни с сего сердце затрепыхается, то ещё какая-нибудь гадость. И стала баба Дуня задумываться, что, видать, вышли её года. А раз так, то надо на могилку к сыну и наведываться почаще – теперь не только на Пасху, а и на Рождество можно, потому как следующей Пасхи может она и не дожидаться.

На Пасху баба Дуня ездила к сыну с крашеными яйцами, с куличами. И возле могилы собирались другие матери, такие же, как она, у которых тоже здесь кто-нибудь похоронен, потому что могила братская. И они вместе поминали своих сыновей, погибших в 43-м, и вместе плакали, и потом расходились кто куда.

Ну а на Рождество сюда почти никто не приходил, потому что могила эта была не совсем в городе, а немного за городом, на шоссе, и даже трамвай сюда не доходил километра два. Правда, один раз приковыляла в стужу одна старушка, старая знакомая бабы Дуни – у неё здесь, в этой могиле, сразу двое лежали. Но потом она исчезла и даже на прошлую Пасху её не было, может, простыла в тот раз и померла.

Готовиться к поездке баба Дуня стала, как всегда, заранее. Попросила дочку связать ей тёплые рукавицы, потому что январь в этом году выдался морозный, залатала кое-где свою телогрейку, доставшуюся ей в наследство ещё от мужа. Телогрейка эта была ей по длине, как пальто, потому что хоть и была баба Дуня, несмотря на свой возраст, высокая и крупная, а всё равно старику своему покойному только до плеча доставала.

Ну и, само собой, не забыла баба Дуня про самогон – ещё за две недели купила у Васьки-столяра большую бутылку. На праздники, вообще, с этим делом всегда туго: чуть-чуть зазеваешься, и ничего тебе не достанется. А тут как раз праздники повалили один из другим: Новый год, Рождество, а там и старый Новый год подходит, и Крещение. Васька по этой причине по праздникам ходил гоголем и чувствовал себя самым нужным человеком в деревне. И это действительно так и было. С утра и до вечера таскались к нему в хату мужики, ловили на улице, кланчили:

– Вась, дай бутылочку!

– Вась, меня не забудь!

Конечно, можно было бы купить и водки в сельмаге, но как-то принято было считать, что самогон во всех отношениях лучше – и дешевле, и крепче, и для здоровья полезнее.

Васька раньше работал столяром в колхозе, но потом совершенно забросил это дело, вполне справедливо решив, что самогонование – дело куда более выгодное: и прибыли не сравнить, и почёту больше, столярничать каждый мужик может, а самогонщиков на деревне раз-два и обчёлся.

Участковый уполномоченный Иван Романович Зыбин сколько раз грозился добраться до Васьки. Но «добирался» он до него в основном, как и все, по праздникам, или когда в его семье справлялось какое-нибудь торжество, или даже так, просто, под настроение. Неизвестно, о чем они говорили между собой, а

только проходил час-другой, и они вместе с Васькой выходили в обнимку на улицу и горланили военные песни. Новых песен они не признавали, из довоенных помнили только «Синий платочек», а вот военные на всю жизнь запали им в душу, потому что оба в своё время сражались за Родину и при случае каждый мог щегольнуть целой колодкой орденов и медалей.

Баба Дуня брала у Васьки или «первачок», или, в крайнем случае, «почти первачок». На этот раз Васька что-то пожадничал и отпустил ей «почти первачок». Правда, и от него перехватывало в горле, как от чистого спирта. Но баба Дуня, не доверяя собственным ощущениям, налила немного самогону в блюдце и подожгла его, самогон, вспыхнув синим пламенем, сгорел почти без остатка.

– Зря только переводишь драгоценную влагу, – неодобрительно ворчал при этом Васька. – Уж кого-кого, а тебя сроду не обману, сама знаешь.

Он так говорил, потому что они с Николаем, тем самым Николаем, сыном бабы Дуни, который погиб, были друзьями детства и даже вместе собирались в цирковые артисты, да война помешала.

В назначенный день баба Дуня завязала в узелок бутылку с самогоном, маленький стограммовый стаканчик, положила туда же кусок сала, пару соленых огурцов, хлеба и отправилась к колхозному правлению в надежде, что кто-нибудь поедет в город и подвезёт её.

– Нонче уж не ждите, заночую у кума, – предупредила она домашних.

Кум её давно уже жил в городе у своей замужней дочери, и баба Дуня, бывая в городе, всегда у него останавливалась. Собственно говоря, она и самогону купила так много в расчёте на кума – неудобно же к нему с пустыми руками. А самой-то ей для поминания грамм сто нужно, ну, может, сто пятьдесят, не больше.

Мороз стоял градусов на двадцать, да ещё дул с полей небольшой ветерок. И хотя баба Дуня была привычная к морозу и к тому же тепло одета, а всё-таки её нет-нет да прохватывало: наверное, года сказывались.

Она жила на краю деревни, а колхозное правление размещалось в центре, рядом с клубом, и идти до него было километра полтора. Баба Дуня крепче прижимала к себе узелок и жалела, что не выпила хоть чуточку самогону на дорогу – всё теплее было бы.

В деревне бабу Дуню знали все, и все уважали. И на то были причины. Всю свою жизнь трудилась она в поле и хоть в знатные да орденоносные не выбилась, но долг свой выполняла честно и от работы никогда не отлынивала. И ещё уважали её за верность их рода земле. Чуть ли не каждая баба в деревне могла похвастать, что её сын или дочь, или там брат живёт в городе, работает врачом, инженером

или лётчиком. А вот у бабы Дуни и все её предки, и все потомки жили всегда в деревне и никуда отсюда не уезжали, и не собирались уезжать. Вот Нинка, внучка от младшей дочери, собиралась в том году в город – в институт поступать, да так и не собралась. И ничего. Сейчас на птицеферме работает и уже в районную газету попала.

Баба Дуня подросла к правлению как раз вовремя: у дверей тархтел уже председательский «козёл», и шофер с диковинным именем Альберт попыхивал сигареткой в ожидании пассажиров. Баба Дуня подошла к машине, постучала в стекло:

– Не в город случае?

– В него, – ответил Альберт, открывая дверцу. – Здравствуй, баба Дуня!

– Здорово, Абрам!

Баба Дуня в жизни своей не слыхала имени Альберт, а потому стеснялась его произносить и заменяла самым похожим, по её мнению, именем Абрам. Сперва Альберт обижался за это на бабу Дуню и поправлял её, но потом привык, и это даже стало ему как-то нравиться.

– Ну а меня-то вы не прихватите с собой? – спросила баба Дуня.

– А это уж, как председатель, – ответил Альберт, выпуская через ноздри дым.

Баба Дуня хотела ещё что-то сказать, но в это время в дверях правления показался сам председатель в сопровождении клубного баяниста Гришки и зоотехника Пал Палыча. Баба Дуня устремилась им навстречу.

– Михалыч, в город подвезёшь?

– Садись, – охотно разрешил председатель, – как раз пять душ и наберётся.

– Алексей Михалыч, – плаксиво проговорил Гришка, – а тёща моя как же? Вы же ей обещали подвезти.

– Она тебе ещё не тёща, – попробовал отшутиться председатель.

– Ну будет тещей. В мае уже свадьбу решили играть. Я уже с ребятами из оркестра договорился, приедут из города...

– Ну ладно, Гриша, отстань! – сердито отмахнулся председатель. – А то и тебя самого не возьму. Баба Дуня ещё моего отца нянчила, а ты со своей тещей лезешь.

Гришка что-то обиженно забормотал насчёт того, что он может хоть завтра в любое место отсюда уехать, что его всюду ждут с распростёртыми объятиями, но потом смирился и, напоследок плаксиво шмыгнув носом, полез вслед за всеми в машину. Альберт, с которым они были друзьями, виновато развёл руками: мол, ничего не могу поделать.

Гришку, конечно, мало беспокоило, поедет его будущая тёща в город или не поедет, но этим отказом

председатель подрывал его авторитет в тёщиных глазах. Он вот уже с год, сразу как приехал сюда, сватался к семнадцатилетней Ольге Семеныхиной, но мать всё ему отказывала под предлогом того, что дочь ещё слишком молода. А Гриша, чтобы набить себе цену, придумывал про себя всякие небылицы и среди прочего говорил Семеныхиной-матери, что баянист – это редчайшая в мире профессия и что по этой причине председатель у него, у Гриши, в руках.

– Ну что, все уселись? – спросил Алексей Михалыч. – Поехали, Альберт!

Сам он сел впереди, рядом с шофёром, а на заднем сидении расположились Гришка, баба Дуня и Пал Палыч.

– Эх, жизнь! – глубокомысленно вздохнул Гришка и больше за всю дорогу не проронил ни слова.

А Пал Палыч, наклонившись вперёд, стал разговаривать с председателем о колхозных делах. Так что баба Дуня оказалась представленной сама себе, что её вполне устраивало, и она даже с полчасика вздремнула, положив под голову свой узелок. Один только раз за всю дорогу её покой был нарушен. Пал Палыч с председателем заговорили о птицеферме и о том, что никак туда хорошего заведующего не подберут, и вдруг председатель, резко перегнувшись через сидение, спросил:

– Баба Дуня, а что если вашу Нинку в заведующие поставить?

Баба Дуня никак не ожидала этого вопроса и сперва даже как-то опешила.

– Да за что же её?! – спросила она испуганно.

– Как это «за что»? – удивился председатель. – Девчонка она грамотная – десять классов кончила, работу свою любит.

– Рано ей ещё, – возразила баба Дуня. – Да и непривычные мы к этому, у нас в начальниках сроду ещё никто не ходил. Видать, тебя, Михалыч, газетка попутала: там похвалили её малость, и ты сразу туда же! А может, там брехню написали, они на это горазды.

Председатель словил себя на мысли, что и вправду его «газетка попутала» и что раньше он о Нинке как о заведующей и не думал вовсе. И почему-то его очень разозлило это.

– Ну ладно, ладно! – сердито оборвал он бабу Дуню. – Надо будет, у тебя не спросим.

И снова повернувшись лицом к дороге, добавил язвительно:

– Непривычные!..

Баба Дуня вышла из машины не у самой братской могилы, а проехала немного вперёд – туда, где начинались первые одноэтажные домишки. Если бы вышла она у могилы, то непременно стали бы её расспрашивать: куда, да чего, да зачем, а ей сейчас ни в какие разговоры пускаться не хотелось. А так

сказала она напоследок, что, мол, кума идёт проведать – и всё, и все разговоры!

Машина покатила дальше в город, а баба Дуня не спеша побрела в обратную сторону.

На месте могилы года три как поставили большой хороший памятник, а рядом, в чаше, зажгли вечный огонь. Раньше же здесь стоял только обелиск, его куда-то убрали. Памятник изображал умирающего от ран, но не сдавшегося воина-освободителя. Он лежал уже на земле, оперевшись на локти, с запрокинутой назад головой, но слабеющие пальцы его всё ещё сжимали автомат. А внизу памятника были высечены имена тех, кто сражался на этой земле и отдал за неё жизнь – всего двести девятнадцать фамилий и восемь номеров без фамилий, потому что знали, что они здесь похоронены, но кто именно, установить не удалось. Раньше, ещё на старом обелиске, этих бесфамильных было в два раза больше, но потом юные следопыты установили восьмерых.

Баба Дуня подошла к памятнику, отыскивала прежде всего среди погибших фамилию своего сына и почти неслышно заговорила:

– Сынок, здравствуй! Пришла вот тебя проведать. Привет тебе от всех наших: от Гали, от Марфы, от дяди Коли, от Юрки, от Нинки, от Ивана Тимофеевича, от Сени, от тётки Шуры, от Гены. Все живы-здоровы, а Нинку даже в начальницы выбирают.

Баба Дуня хотела бы и ещё что-нибудь сказать, но больше не подобрала слов и вместо этого осторожно погладила выбитые в граните имя и фамилию сына. Читать она не умела, но напротив фамилии сына был нацарапан еле заметный крестик – такой, какие рисуют на могильных плитах. Это по её просьбе кум отметил фамилию сына чёрточкой, чтобы легче было находить его, а баба Дуня сама потом переделала эту чёрточку в крестик, считая, что так её Коле будет лучше жить на том свете.

Баба Дуня ещё некоторое время постояла против могилы молча, потом попричитала, как причитают все бабы при поминании близких им людей, и только после этого развернула узелок, открыла бутылку с самогонном и налила себе стаканчик. Кругом было безлюдно, и стесняться ей было некого.

Баба Дуня пожевала сала, похрустела соленым огурчиком... И вдруг озарила её одна правильная мысль: а почему же это, подумала она, её Николай с крестиком, а другие, здесь обозначенные, без крестика? Разве они не такие же русские, как он? Или не так же, как он, сложили головы за родную землю? И стало бабе Дуне даже как-то совестно от этих мыслей, и решила она тут же, на месте, искупить свою вину. Она расстегнула телогрейку, вынула булавку, которая вместо пуговиц скрепляла её кофту, и принялась за дело. Конечно, не так легко было нацарапать на морозе столько крестиков, но бабой

Дуней двигала уверенность, что она совершает святое дело, а потому она почти и не замечала мороза. Сперва поставила она крестики против всех фамилий, а потом подумала немного и окрестила тоже и бесфамильных.

Покончив с этим, она поглядела на дело рук своих и облегчённо вздохнула, и только после этого почувствовала, как жжёт мороз её открытые руки. Она кое-как залезла в рукавицы и для согрева отхлебнула прямо из горлышка несколько глотков самогона, потому что пользоваться стаканом она уже не могла: скрюченные пальцы совсем её не слушались. Затем сгребла она в узелок свой скарб, проронила ещё несколько слезинок в память о сыне и собралась уходить, но напоследок решила немного погреться у огня. Она снова стянула рукавицы и подставила руки к огню. Сперва пальцы, особенно под ногтями, невозможно заныли, но потом боль прошла, и от пальцев по всему телу потекло живое тепло. А вместе с теплом вернулись к бабе Дуне и всякие мысли.

Она вспомнила тот дождливый осенний день 43-го года. Вспомнила, как грохотала на этом самом месте артиллерия, как грохот этот доносился до их деревни. А в деревне к тому времени остались одни бабы да старики, и все повыскакивали на улицу и стояли под дождём, и слушали далёкую канонаду, зная, что у города идёт бой. За два года войны ко всему привыкли, отупели от несчастий и боялись уже надеяться на хорошее, а всё-таки все стояли бледные, как будто от этого одного боя зависела судьба всей России. А бледнее всех стояла баба Дуня, и были у неё на то свои причины. За два дня до того неожиданно нагрянул в деревню Николай, о котором уже два года ничего не было слышно. Он подкатил на зелёной машине прямо к своему дому, подхватил на руки оторопевшую от счастья мать, стал обнимать сестёр.

Оказалось, что их дивизии приказано освободить от немцев город и что через два дня они выступают. О себе он рассказал, что всю войну прослужил шофёром у комбата, а сейчас собирается на танк перейти. Похвастался он также, что у него уже орден и две медали.

А через полчаса он уже умчал назад, пообещав через два дня, сразу после боя, приехать домой на целый день. Но так уж никогда и не приехал: тот бой оказался для него последним.

Вспомнила сейчас баба Дуня всё это, и опять потекли по щекам её слёзы.

По шоссе проносились туда-сюда машины, но баба Дуня никакого внимания на них не обращала, потому что её они совершенно не касались. Но вот неожиданно напротив памятника остановился один автобус и высыпала из него целая ватага ребятшек пионерского возраста в сопровождении молодень-

кой девушки, наверное пионервожатой. Ростом она была очень маленькая, почти что со своих пионеров, но заменяла этот недостаток необыкновенной серьёзностью и строгостью в лице. Вот эта компания приблизилась к памятнику и с удивлением воззрилась на бабу Дуню.

– А вы что здесь делаете? – строго спросила девушка.

– Обыкновенно что, руки грею: дюже озябли, – немного смущаясь, сама не зная чему, ответила баба Дуня.

Девушка растерянно посмотрела на своих пионеров, потом вновь обратилась к бабе Дуне:

– Вы знаете, здесь совершенно не место греться. Это даже кощунство – греться у священного вечного огня. Какой пример вы подаёте хотя бы вот этим пионерам? Я бы скорее превратилась в сосульку, чем позволила себе такое!

Баба Дуня оторопело смотрела на девушку, не понимая, чего от неё хотят, и всё ещё продолжая держать руки над пламенем.

– Мамаша, вы меня извините, – снова заговорила девушка чуть ли не со слезами в голосе, – но я бы вас попросила уйти отсюда. В противном случае нам придётся уйти.

Только теперь до бабы Дуни дошло, чего от неё добивается эта девушка: она просто хочет, чтобы баба Дуня ушла. И она не стала спорить, а просто подхватила свои рукавицы, узелок и ушла. Конечно, ей стало обидно, и она хотела сказать этой «козьяке», что здесь похоронен её сын, но не решалась: а вдруг та заметит крестики, которые нацарапала на памятнике баба Дуня. Тогда уж и вовсе не оберёшься крику. Нет, лучше уж с ней не связываться.

Баба Дуня вышла на обочину шоссе и направилась в сторону города: надо было дойти до трамвайной остановки, а потом ещё долго добираться до кума трамваем. Сначала она шла не оглядываясь, но, пройдя метров пятьдесят, обернулась. Пионервожатая стояла перед памятником, держа у лба кисть правой руки. А напротив неё стояли в почётном карауле, тоже с руками у лба, её пионеры. Девушка что-то говорила, а ребята повторяли за ней – наверное, давали какую-нибудь пионерскую клятву.

Баба Дуня смотрела на них с восхищением и хотя не совсем понимала, что всё это означает, но совершенно правильно решила, что они тоже поминают тех, кто здесь лежит, но только поминают не так, как она, а по-своему, по-пионерски. И она почувствовала вдруг, как обида её на эту девушку постепенно рассасывается, и вместо обиды заполняет её, бабу Дуню, какое-то тёплое чувство к ней и к её пионерам, как будто бы они её родные и пришли вместе с ней помянуть её сына. И баба Дуня, прослезившись от умиления, побрела дальше.